

А. А.
БЕСТУЖЕВ-
МАРЛИНСКИЙ

Сочинения



Александр Александрович Бестужев-Марлинский

Роман и Ольга

Старинная повесть

Течение моей повести заключается между половинами 1396 и 1398 годов (считая год с первого марта, по тогдашнему стилю). Все исторические происшествия и лица, в ней упоминаемые, представлены с неотступною точностию, а нравы, предрассудки и обычаи изобразил я, по соображению, из преданий и оставшихся памятников. Языком старался я приблизиться к простому настоящему русскому рассказу и могу поручиться, что слова, которые многим покажутся странными, не вымышлены, а взяты мною из старинных летописей, песен и сказок. Предмет сей книги не позволяет мне умножить число пояснительных цитат, но читатели, Для проверки, могут взять 2-ю главу 5-го тома «Истории государства Российского» Карамзина, «Разговоры о древностях Новагорода»[1] преосвященного Евгения и «Опыт о древностях русских» Успенского. (Примеч. автора.)

I

Зачем, зачем вы разорвали

Союз сердец? «Вам розно быть! – вы им сказали. –

Всему конец!» Что пользы в платье золотое

Себя рядить? Богатство на земле прямое[2] Одно – любить! Жуковский

– Этому не бывать! – говорил Симеон Воеслав, именитый гость новгородский, брату своему.
– Не бывать, как двум солнцам на небе. Правда, твой любимец, Роман Ясенский, хорош и пригож, служил верой и правдой Новугороду, потерпел много за Русь святую; горазд повесть слово на вечах, в беседах; удал на игрушках военных[3] и на все смышлен, ко всем приветлив... Одна беда, – примолвил Симеон, с гордостью перебирая связкою ключей на поясе, – он беден, стало быть, не видать ему за собой Ольги.

– Брат Симеон! сердце не слуга, ему не прикажешь!

– Зато можно отказать. С этого часу запрещаю Ольге и мыслить о Романе, а ему – ходить ко мне. Я хочу, чтоб она думала не иначе, как головою отца да матери: жила бы по старине, а не по своей воле, и не подражала бы чужеземным, привозным обычаям. Правду молвить, в этом первую виной...

– Если б не торговые выгоды! – прервал Юрий, с усмешкою разглаживая усы свои.

– Да, да, если б не торговые выгоды! – отвечал Симеон, тронутый таким замечанием. –

Выгоды, которые сделали меня первым гостем новгородским.

– И всегда и навсегда напрасно: Ольга не изберет другого, если ты не выберешь ею избранного. Брат и друг! ты хорошо знаешь свои счета, но худо страсти людские. Ольга может в твою угодую скрыть слезы свои, но эти слезы сожгут ее сердце, и она безвременно увянет, как цвет, иссохнет, как былинка на камне. Не делай же ее несчастною, не заставь крушиться родных на твое позднее раскаяние. Послушай совета от друга и брата, чтоб после не плакаться богу; исполни мою просьбу, а молодых мольбу – отдай Ольгу Роману!..

Слово совет пробудило гордость Симеону.

– Побереги эти советы для детей своих! – сказал он, нахмутив брови, чтобы под суровостию чела скрыть слезы, наворачнувшиеся на глазах от речи Юрия. – Старшему брату поздно жить умом младшего.

Долго длилось молчанье. Юрий, недовольный худым успехом сватовства, видел, что он оскорбил самолюбие брата. Симеон досадовал на него за противоречие, а на себя – за помин о старшинстве. Один глядел в косячатое окошко[4], другой играл кистью своего узорчатого кушака; оба искали слов к разговору и не находили. Наконец нетерпеливый Юрий решился избавить себя и брата от затруднения уходом.

– Прощай, братец! – тихо сказал он, снимая со стопки бобровую свою шапку.

– С богом, Юрий! Но почему ты не остаешься здесь ужинать? Я попотчую тебя стерлядью и славным вином заморским.

– У тебя ль, Симеон, нет золота? – возразил брат его, Юрий Гостиный, сотник конца Славенского[5]. – Тебе ли желать богатого зятя, когда ты можешь устлать деньгами всю дорогу его к церкви венчальной?

– Но кто мне порука, что не деньги влекут Романа к моей дочери?

– Его чувства, Симеон, его поступки: кто бескорыстно принес в жертву родине свою кровь и молодость, кто первый запалил наследственный дом, чтоб он не достался врагам Новгорода, тот, конечно, не променяет души на приданое!

– Так не хочешь ли, братец любезный, чтоб я бросил мою лучшую, заветную жемчужину в мутный Волхов, чтоб я отдал мою дочь за человека, у которого нет три-девяти снопов для брачной постели[6], у которого и любимый конь пасется муравою приятелей! Моей ли Ольге он чета? У нее корабли в море, у него – журавли в небе.

– Брат! не порочь доброго гражданина! Сердце Романово стоит твоих мешков с золотом, и в его жилах течет нехудая кровь детей боярских: племяннице моей не стыдно сложить руку с рукою правнука Твердиславова.[7]

– Да будь он потомок самого Вадима[8], и тогда без золотого гребня не расплести ему косы моей Ольги и своей славной саблей не отворить кованого ларца с ее приданым!

– Чудный человек! ты ищешь за свое добро купить себе горе, а дочери несчастье. Ольга любит Романа; ее слезы...

– Слезы – вода, а про любовь ее, задуманную без моего согласия, не хочу я и слышать.

– Если б даже ты угостил меня княжескими павлинами, я не останусь: тоска племянницы отравит редкие твои яствы и дорогую мальвазию...[9]

– Вольному воля! – повторил раза два Симеон, провожая брата. Задумавшись, сел он под

божницей, блестящей золотыми окладами и венцами старинных икон, изукрашенных камнями самоцветными. Сватовство Романа не выходило из его головы: участь дочери лежала на сердце; гордость боролась с отеческою любовью. Больше всего на свете любил Симеон Великий Новгород, но больше всего уважал богатство, и потому-то человек, не отличенный еще согражданами, не наделенный счастьем, с своими заслугами и достоинствами, казался ему ничтожным. К этому присовокупилась давняя досада за противность на вече, где Роман сильно опровергал его мнения. Симеон скоро увидел истину; но старые люди редко ее прощают юношам. Расчетливость не охладила в нем чувств, но тщеславие заставило желать для дочери жениха именитого и богатого; судьба Романа решилась. Симеон не любил говорить дважды.

«Брат посердится и уймется, – думал он, – а любовь девушки – лед вешний: поплачет она, поскучает... и другой жених оботрет ее слезы бобровым рукавом шубы своей!»

Бледен как полотно, выслушал Роман из уст Воеслава приговор свой. Добрый Юрий был ему вместо отца родного; он старался смягчить отказ словами ласковыми, льстил надеждой далекою; но мог ли обольстить несчастливца! Сердце влюбленного чутко, взоры его необманчивы; Роман издали прочитал беду на лице благодетеля. В исступлении немого отчаяния, вперив неподвижные взоры на дверь, долго сидел он на лавке дубовой, ничего не видя и не слыша. Горькие вздохи вздымали грудь, занимали его дыхание; наконец природа взяла верх: в два ключа брызнули слезы из очей юноши; он, рыдая, упал на грудь великодушного друга.

В те времена добрые люди не стыдились еще слез своих, не прятали сердца под приветной улыбкою: были друзьями и недругами явно. Воеслав плакал вместе с Романом, и благодарная душа его как будто утешилась росой отрады.

II

Уста раскрыв, без слез рыдая,

Сидела дева молодая;

Туманный, неподвижный взор

Безмолвный выражал укор.[10] А. Пушкин

Милая Ольга не знала, не ведала о бывшем. В высоком липовом своем тереме, в кругу нянек и сенных девушек, сидела она за пяльцами, вышивая ковер шелковый, и между тем как нежная рука выводила узоры, воображение рисовало ей блестящие картины будущего. Она краснела от удовольствия при мысли, что на этот ковер, может быть, ступит она под венец с милым сердцу. Воспоминание переносило ее к первой встрече с прекрасным юношею, когда он забыл поклониться, пораженный ее красою, боясь свести глаза с Ольги пленительной. С младенческою подробностью припоминала она ту прелестную весну, когда сердце ее распустилось, как роза, под дыханием первой любви; тот незабвенный семик[11], когда впервые рука ее трепетала в руке Романа, когда нехотя убегала она в резвых горелках от милого незнакомца и как будто случаем с ним встречалась, с ним завивала березку и, когда Волхов умчал гадальный веночек ее, в глазах Романовых хотела прочесть будущую свою участь. Припоминала места, где видались они, и тайные речи, и поступь, и одежду сердечного друга. Иногда, опустив иголку, в обмане мечты, ей казалось как наяву, будто

Роман стоит перед нею в светло-синем кафтане своем, с серебряными застёжками, обтянутом около стройного его стана, в зеленых сафьянных сапожках с золочеными каблуками! Казалось, она видела, как он кланяется с обычною уветливостью, как отряхает русые кудри свои, как закладывает шитые с бахромою перчатки за кушак шамаханский[12], и мимолетный ветер чудился ей голосом любезного. Как любила слушать она Романовы повести о дальних походах новгородцев, на поморье и на подолье, о битвах с богатырями железными, с суровыми шведами, с дикими половцами и литовцами. Она заслушивалась им, растворив окно светлицы над крыльцом отеческим, где милый воитель беседовал за стопой кипящего меду, сидя с братьями Воеславами, по субботам в час вечера, когда кончены все заботы недели, и тонкий пар встает с бань приволховских, и река кипит пловцами. С каким трепетом, с каким благоговением внимала она рассказу о недавнем нашествии Тамерлана, о промысле всемогущего, спасшего Москву от гибели верою граждан, заступлением девы пречистой, образом Владимирской богородицы[13]. С каким участием провожала Романа, плененного в Ельце, за войском монголов, гонимых мечом невидимым из России! Описание вечно цветущей Астрахани, коверчатых берегов закубанских и Кавказа, подпирающего небо шлемом снежным, оперенным тучами, и грозного величия бича вселенной – Тимура, его роскошный двор, его зверонравных подданных с их нарядами, с их обрядами и забавами – привлекали внимание Ольги. «Добыча целого света, запечатленная кровию миллионов людей, лежала горами в престольном стане Тимуровом, – говорил Роман. – Цари и владельцы всей Азии служили хану рабами. Ковры персидские, украшение дворцов Багдада, стали попонами верблюдам, многоцепные пояса дев русских обратились в смычки собак; багряницы[14] князей веяли чепраками на конях победителя. Гордые моголы, нежась на войлоках под шалевыми палатками Тибета, пили вино разграбленной Грузии из священных чаш Царя-града». Сердце ее замирало, когда она внимала ужасам, висевшим над головою Романа во время плена, и опасностям во время бегства его на родину, от берегов Черного моря.

Неустрасимость мужчины вливает в грудь девушки какое-то возвышенное к нему уважение. Соучастие дружит, сближает с страдальцем, и любовь, как тиховейный ветер, закрадывается в душу. Пленили Ольгу повести богатырские; но что было с нею, когда Роман садился за звонкие гусли и под говор струн запевал томную песню! Его голос казался тебе, красавица, отголоском тайных чувств твоих; твоя душа сливалась и замирала с звуками любовных припевов; ты млела в каком-то сладостном забытии, и долго-долго слышались тебе отрадные звуки знакомого голоса, и взоры певца ласкали, пронизали сердце. «Неужель все то правда, что поется в песнях?» – не раз спрашивала Ольга у добродушной няни своей.

«О, конечно! – отвечала няня. – В сказке – басня, а в песне – быль».

И вслед за тем запевала она любимые песни Ольгины, сложенные Романом, и – неопытная предавалась страсти злосчастной и с потворством внимала шепоту сердца, которое от часу громче твердило: «Люблю, люблю Романа!» Ты спознала, непреклонная красавица, грусть и сладкие вздохи, и неясные желанья, и, в награду бессонницы, сны, украшенные образом незабвенным. Да и кто ж, коль не он, ей суженый? Разве даром ей явился Роман в зеркале, разве даром приснился о святках, накануне крещенья, и перевел, как наяву, через мост свадебный? Неужели лучший вещун – сердце ее обмануло!..

Так лелеяла надежды свои невинная Ольга; но жребий судил иначе... Вечерел ясный день рюэня[15]. Ольга задумчиво сидела под густою яблонью, в тенистом саду отеческом. Вдруг затрещал частокол высокий, кто-то спрыгнул с него; еще миг – и Роман очутился перед испуганною Ольгою.

– Не беги, не пугайся, не гневайся, милая! – говорил он, схватив ее за руку. – Выслушай твоего верного Романа. Моя жизнь, мое счастье от того зависят.

Красавица вырывалась напрасно; рассудок советовал ей: «Беги!», сердце шептало:

«Останься!» «Что скажут добрые люди?» – повторял разум. «Что станется с милым, когда ты скроешься?» – замечало сердце. Еще борьба страха и стыдливости не кончилась, а Ольга нехотя, сама не зная как, сидела уже с Романом рука об руку и пленительным голосом любви упрекала любезного льстеца в безрассудстве.

– Ольга, – сказал тогда Роман, – я принес весть нерадостную: я сватался, и мне отказано! Жить без тебя я не могу, и когда твоя любовь не одни пустые речи, бежим к доброму князю Владимиру[16]: у него найдем приют, а в сердцах своих – счастье. Решайся!

Поражена, изумлена вестью и предложением Романа, безмолвна сидела Ольга. Все кончилось! Все мечты, любимые подруги сердца, погибли. Исчезла радость навек, будто павшая звезда, и так безнадежно, так неожиданно! Долго бушевали страсти в груди ее; долго тускнело зеркало разума под дыханием отчаяния; наконец ужасающая мысль о побеге возбудила внимание Ольги.

– Бежать, мне бежать! – воскликнула она, рыдая. – И ты, Роман, мог предложить средство, позорное для моего роду и племени, пагубное для меня самой! Нет, ты не любил Ольги, когда забыл о ее доброй славе, о чистоте ее совести. Бежать! Совершить дело неслыханное, бросить край родимый, обесславить навек родителей, прогневать бога и святую Софию! Нет, Роман, нет, отрекаюсь любви, если она требует преступлений, и даже тебя, тебя самого.

Слезы прервали речь ее.

С нахмуренным челом, блуждая окрест сверкающими взорами, внимал вспыльчивый Роман укорам девы.

– Женщины, женщины! – произнес он с дикою усмешкою, – и вы хвалитесь любовью, постоянством, чувствительностью! Вы, жалостливые только до песен; вы, из тщеславия пленяющие легковверных! Любовь ваша – одна прихоть, болтлива и летуча как ласточка; но когда приходится доказать ее не словом, а делом, как вы обильны в извинениях, как щедры на советы, на старые басни и на упреки! И для чего ж было льстить мне коварными взорами, речами ласки и надежды? Чтобы убийственным нет оледенить сердце любовника! Не для тебя ль, непреклонная, забывал я славу, и свет, и все, меня окружающее; не замечал, как откидывались от глаз, будто ненароком, при встрече со мною, фаты первых красавиц, какие взгляды стремились ко мне из-за штофных занавесов богатейших из моих соседок? Не я ли вековал на улице, чтоб уловить небесный взор твой, услышать звук твоего голоса, шум легкой твоей походки? Не я ли посвятил тебе жизнь и счастье жизни? И ты разом все у меня похищаешь: меняешь мою руку на роскошь, хочешь, чтобы золотым обручальным кольцом приковали тебя к чугунной цепи немилостивого супружества, – немилостивого, говорю я?.. Но ведь женская любовь – привычка; долго ль красавице позабыть прежнее!.. И может статься, если переживу я свое несчастье, Ольга захочет видеть меня дружкой своим, чтобы с саблей в руке скакал я в ночь около ее спальни и охранял покой новобрачных!..

В пылу гнева Роман не внимал умоляющему голосу Ольги, но, излив словами сердце, он увидел слезы ее; они потушили испуг. Ярость исчезла, как тающий снег на раскаленном железе.

– Неблагодарный друг! – говорила красавица. – И ты мог подумать, мог вымолвить, что я разлюбила тебя! Надеялась ли я когда-нибудь слышать упреки за справедливость? думала ли получить такую награду, когда твои вздохи волновали грудь мою, когда по целым часам я внимала взорами тайному разговору ясных очей твоих?.. А теперь!

– Прости, прости меня, бесценная!.. – повторял тронутый Роман, целуя хладную ее руку...

Невольно склонилась девица на кипящую грудь юноши; щеки обоих горели румянцем, и первый сладостный поцелуй любви запечатлел примирение.

– Жить и умереть с тобою! – тихо произнесла Ольга, и все жилки Романа затрепетали чувством неизъяснимым.

Души пылкие! вам они понятны: вы извели сии волшебные мгновения, когда каждая мысль – радость, каждое ощущение – нега, каждое чувство – восторг!

– Через три дня, в праздник пятилетия мира с немцами, в час полуночи, я буду ждать милую Ольгу под окошком садовым; борзые кони умчат нас отсюда, суматоха праздничная поблагоприятствует побегу, и на берегу чуждой реки найдем мы покой и счастье и, может статься, дождемся благословения отеческого.

Роковое да! излетело со вздохом. Любовники поцеловались еще и еще раз. Прощальные слезы сверкнули – Роман удалился.

III

Они в ручной вступили бой,

Грудь с грудью и рука с рукой.

От вопля их дубравы воют,

Они стопами землю роют.[17] Дмитриев

Наступил день праздника.

Веселый звон колоколов огласил воздух, и Новгород, запестрел народом; собираются стар и мал: граждане в церковь Софийскую, немцы к св. Петру. Громогласно читают договорную мирную грамоту с рижанами и Готским берегом[18]; молебствие отходит, и все спешат от обедни к обеду на городище. Сановники за столами браными ждут гостей, гости ожидают друг друга, И вот уже посадник приветствует купцов ревельских, любских, армянских, союзников литовцев, земляков россиян. Владыко благословляет яствы, гремит труба, и все садятся: богач подле бедного, знатный с простолюдином, иноверец рядом с православными. Всё смешано, все дышат братством и дружеством; благодатное небо раскинуто одинаково над всеми. Казалось, тогда обновился пир Изяслава[19], князя, любезного народу, угощавшего на этом же месте любимый народ свой.

Протекли с того дня три века; изменились князья Новагорода; зато новгородцы остались те же. По-прежнему шумны как липец[20], по-прежнему гнев их сердец опадает как пена, и незлопамятная рука новгородца охотно покидает меч для кубка мирового, и недруги садятся друзьями за гостеприимный стол, за хлеб-соль русскую.

Текут часы, течет вино рекою, и заздравный рог кружится между гостями, и цветные наливки румянят ланиты пирующих. Смех и шум возвещают конец обеда. Встают – и веселые, живые песни раздаются по берегу.

– Милости просим, алдерман[21] Бруно, фогт фон Роденштейн, и все господа рыцари немецкие и все ясные паны Литвы! – говорил ласковый Юрий Воеслав приезжим. – Милости просим послушать песенок русских; певец Роман, верно, не откажется потешить дорогих гостей наших.

Любопытные стеснились в кружок. Роман настроил гусли, робко окинул взором собрание и запел о любви дочери Ярославовой Елисаветы к смелому Гаральду[22], витязю Скандинавии, изгнаннику, великодушно принятому при дворе новгородском. «Князь, – говорил ему мудрый Ярослав, – ты мил моей дочери, этого довольно – меняйтесь сердцами и кольцами, но знай, что одними песнями не купишь руки Елисаветиной, покуда слава не будет твоею свахою». «Иди и заслужи меня!» – произнесла полумертвая княжна, и Гаральд полетел в Грецию, сражался годы за св. крест, побеждал, потому что любил, и, презрев страсть императрицы Зои, с верною дружиною варягов, между тысячами опасностей, возвратился к Новгороду и корысти, и славу, и почести поверг к ногам верной Елисаветы.

Вдруг затихли живые струны, и светлая дума минувшего налетела на кругстоящих. Роман, зарумянясь будто красная девушка, внимал похвалам и плескам всеобщим. Как подстреленный орел рвется в путях, завидя добычу, так билось в груди юноши сердце, когда в князем саду увидел он Ольгу, когда заметил на лице ее улыбку одобрения; он был счастлив!

– К играм, к играм! – прокликнул бирюч[23], скача на татарском коне по набережной, звуча по временам в трубу серебряную.

Расхлынули волны народа, и просторный круг образовался для борьбы и для ристания. Немцы были первыми гостями на празднике; они первые въехали за веревку. Взоры всех стремятся на оружие всадников: один из них в светлом серебряном панцире, в таких же поручах и поножах, в стальных перчатках, закрыт от золотой шпоры до золотого нашлемника, расцветшего, будто махровый мак, страусовыми перьями. Забрало опущено, черный крест украшает левую грудь; чешуйчатый прибор гремит на сером коне рыцаря. Стальной клетчатый намордник, прикрепленный к ветвистому мундштуку, охраняет конскую голову. Молодой витязь рыщет по поприщу, поднимает решетку шлема, увидя красавиц, выглядывающих сквозь ветви окружных садов, вьет пыль и окровавленную шпорою вперяет свой жар в хладнокровного бегуна фряжского[24]. Другой тихо разъезжает кругом. Его броня чернее ночи, тяжело вооружение, и меч огромен. Голова мавра видна в золотом поле щита;[25] кудри белоснежных перьев играют с ветром. Бесстрастные глаза рыцаря едва блистают сквозь крестовидные скважины глухого его забрала. Но вот рассказали противники, летят навстречу, сердца зрителей бьются по скоку коней, удар! – и копыта в осколках, и кони, сгрывнувшись, поверглись наземь; рыцари, запутанные, задавленные латами, лежат под своими бегунами недвижимы и невредимы.

– Прекрасны ваши брони, – говорили, поднимая их, новгородцы, – но для нас несручны: русский не согласится сидеть, будто в засаде, в таком панцире и, как в тюрьме, дышать божьим воздухом сквозь решетку!

Литовские пятигорцы[26] на резвых конях взнеслись на площадь. Их было трое; легкие кольчуги облекают стан до колена, медвежьи шкуры веют на левых плечах, орлиные крылья шумят за спиною. Бобровые прильбицы[27] надвинуты на брови; кривые сабли их бренчат; мелькают копыта, увенчанные полосатыми значками; высоки сафьянные седла их, убитые золотом, увешанные корольковыми кисточками[28] и ременными плетнями; лядунки[29] с снарядом огнестрельным висят на правом боку; фитили курятся в жестяных трубках. Они гарцуют и с воплем скачут по полю, крутят дротиками, мечут и ловят их на полете или, покинув повод на шею послушных бегунов, берутся за едва виденные дотоле самопалы[30] и, как Перуном, разят перелетных ласточек и дивят народ своим проворством.

– Удалы наездники! – говорят про них меж собою новгородцы. – А не раз случалось нам щипать этих орлов задвинских.

Пращи свистят; русские стрелы решают цель; юноши опереживают ветер, бегая взапуски; всадники скачут, сопровождаемые восклицаниями, ожидаемые наградою у меты. Борьба,

любимая забава племен славянских, привлекает удальцов; кулачный бой решит победу. Уже строятся стороны[31]: особо Софийская, особо Торговая; уже громко вызывают поединщики друг друга; двое первых бойцов выходят на середину, сбрасывают с себя кушаки, цветные кафтаны и с правых рук рукавицы, обнажают их до локтя. Айфал бьется со стороны Торговой, Буславич – от Заречья. Первый ретив, быстр, грозит взорами и словами, другой насмешливо молчалив и неподвижен. В двух шагах друг от друга колеблются они, склонясь наперед всем телом, закрыты, как щитом, левыми руками, стерегут удачного мгновенья, чтоб поразить правую: вот удар – и великан Айфал сгорел от руки Буславича; но вот и обе стены сошлись, схватились, смешались; воздух стонет от кликов, удары дождят – как вдруг раздался глухой звон вечевоего колокола; изумленные борцы остановились и, еще стиснув в руках противника, прислушивались к вестовому звуку. Удары повторялись за ударами, и с каждым разом росло смятение. Новгородцы забыли и бой и веселье, когда общее дело зовет их на вече. Народ потек на двор Ярослава; у каждого в глазах было написано недоумение, на всех устах летал вопрос: что значит эта неожиданность и что она сулит нам?

– Граждане! – сказал посадник Тимофей собравшемуся народу, – послы князей Василия Димитриевича[32] и Витовта, сына Кестутиева, привезли грамоты о делах важных и неотлагаемо хотят вручить их новгородскому вечу. Когда и как дозволите вы явиться им перед собою?

– Теперь, сейчас! – воскликнули тысячи. – Допускаем их поклониться святой Софии и по старине справить свое посольство.

Послы явились. Московский боярин Константин Путный взошел на крыльцо с обнаженною головою, поклонился народу и читал:

– «Василий Димитриевич, великий князь Московский, Суздальский, Ниже – и Новгородский и всея Руси, шлет поклон своим верным людям новгородцам!.. Вложив меч в ножны, после кары строптивых городов ваших, я три года жду покорности новгородской митрополиту Москвы[33], – жду и не дождусь. Ужели вечно раздумье ваше? Знайте ж, что мое терпение не вечно. Это старое; желаю иного. Немцы усиливаются и богатеют в ущерб православным: обрывают соседние союзные области и из вашего железа куют стрелы на русских. Призванный на княжение по роду, я и по сердцу блюду моих подданных и обязан предупредить вас от зла, тем вреднейшего, чем более оно похоже на пользу. С тестем Витовтом мы ссудили войну Ордену меченосцев; требуем того же от Новагорода».

Еще не смолк гул изумления, когда литовец Ямонт гордою поступью вышел на середину и громко вещал:

– «Новгородцы! вас приветствует Витовт, князь Чернигова, князь Белой и Червонной Руси, земли витязей и всей Литвы. Я с вами в мире, а вы с врагами моими, рыцарями, в дружбе и совете. Принимаете и жалуете моих беглых мятежников[34]. Так ли поступают союзники? Так ли платят за ласку нового брата по вере, у которого с вами одни друзья, одни враги? Новгородцы! хочу знать решительно, меня или магистра предпочитаете? Если его, то вспомните, что Витовт не за горами и болота не щит Новугороду. Ваши леса склонятся мостом для моих бесстрашных; я пушу огонь и меч по вашей волости и подковами вытопчу нивы. Мой зять, а ваш государь седлает коня заодно со мною. Выбирайте: жду ответа!»

Невнятное жужжанье негодования пронеслось в толпе народной. Один из старших посадников[35] проводил послов до посольского дома. Граждане, по обычаю, остались судить о слышанном. Епископ, после краткой молитвы, благословил всех на правое совещанье о святом деле родины. Все сановники удалились, ибо старинный закон запрещал им присутствовать на вечях, дабы уничтожить влияние власти. Как море, шумело собрание: разногласие волновало умы; наконец огнищанин Иоанн Заверезжский, муж правдивый, но миролюбный, взошел на ступени и громко спросил позволения вымолвить слово; ему

позволили, и вот что говорил он:

– Народ и граждане, вольные люди новгородцы! Вы слышали предложение князей; вы чувствуете неправоту оною, и общность угроз, и высокомерие княжее; но вы знаете меру сил своих, и теперь благоразумие должно начертать ответ наш. Дело состоит в разрыве с лифлянд-цами или в войне с могучими князьями, и мое мнение – избрать меньшее, первое зло из двух необходимых. Правда, от Ганзы получаем мы все прихотные товары, но жизненные потребности в руках Василия: он может пересечь нам и путь к Каменному Поясу, а без соболей что будет с нашей заморскою торговлею? Это еще не все: немцы – приятели нам только в гостинном дворе и злодеи в поле; набеги их на границы наши от Невы и Великой тому порукою; за них ли, чужеземцев, прольем кровь братьев, наведем беды на отечество? И без того еще не встали из пепла села, и монастыри, и запольские[36] посады Новагорода, недавно принесенные в жертву, великодушно, но бесполезно. Прошлый раз Василий вооружил двадцать городов; теперь один Витовт приведет более, и тяжкая сила задавит волю. Не лучше ли ж до поры до времени уступить некоторые выгоды, чем вдруг потерять все?

– Правда, правда! – закричали многие. – Куда нам ведаться с двумя сильными врагами?

Тогда, кипя досадой и гордым мужеством, Роман просил слова.

– Говори! – зашумели все. Роман говорил:

– Вольные местичи вольного Новагорода! Не дивно было, когда послы князей винули и стращали нас по-своему; дивлюсь, как новгородец мог предложить меры, столь противные пользам соотечественников! Мы поклялись управляться в делах церкви своим епископом; мы целовали крест на мир с рыцарями, – ужели будем играть душою, чтобы угодить Витовту? Ужели новгородская совесть отдана в приданое за его дочь? Недовольный клятвopреступством, он хочет и нас сделать предателями, требуя, чтоб мы выдали Василия и Патрикия на участь Скиригайла[37] и Нариманта[38], им изведенных; но можем ли, захотим ли нарушить искони славное гостеприимство паше? Изменим ли заповеди евангельской, повелевающей прощать и благотворить врагам? Витовт, забрызганный кровью наших одноземцев, хвалится[39], что разил врагов Новагорода, пирует с зятем в Смоленске и вооружает его на немцев. Василий жалуется на них, чтоб обвинить нас, но от кого будет сам получать парчи, бархаты, сукна, оружие? Через какие ворота потекут в Русь искусства, рукоделия и все новые изобретения стран далеких? Через кого мы сами богаты и сильны? Разорвется узел торговли, и обедневший Новгород – верная добыча первому пришельцу. Вспомните, граждане, старинную пословицу: «пустой мех стоять не может!»

Громкие знаки одобрения заглушили речь Романа. Когда утихло, он продолжал:

– Говорят, что ключ от новгородской житницы в руках Василия; но разве нет хлеба за морем? Дорогою же к золотому сибирскому дну завладеть нелегко; в Двинской области у нас есть войско, которое отстоит города, примышленные копьем в поле, а не поклонами в Орде; здесь найдутся люди, чтоб их выручить. Враги наши ужасны, зато в них нет единокровия; Витовт, роскошный на обеты и угрозы, любит греться у чужого пожара и теперь, собираясь громить монголов, не завяжется в битву с соседями. Василий могущ, опасен, – тем сильнее должны ополчиться мы сами. Вам предлагают купить мир временною уступкою прав своих и вечным стыдом родины. Граждане! разве не испытали вы, что уступки становятся чужим правом? Разве серебряным лезвием отразили предки булат Андрея Боголюбского[40]? Наш колокол не дает спать в Кремле Василию; заснем ли мы под грозою? Или забыли замученных торжецких братии своих[41], или нет в Новгороде сердец новгородских, иль не стало мечей, или мы разучились владеть ими? Пускай же восстают тьмы русских на своего прадеда, на великий Новгород; за нас наша мать, святая София!

Ах ты, душечка, красна девица,

Не сиди в ночь до бела света,

Ты не жги свечи воску ярого,

Ты не жди к себе друга милого! Народная песня

Стих, стемнел шумный Новгород; гасли огни в окнах граждан и чужеземцев; сон смежил очи заботы. Покойно все на берегах Волхова; только ты не спишь и не дремлешь, прелестная Ольга! И сильно бьется сердце девическое, высоко воздымается грудь твоя; ожидание, страх и раскаяние тебя терзают. Любимая няня уже распустила ей русую косу, сняла с нее праздничные ферези[42], прочитала молитву вечернюю, sprыснула милую барышню крещенскою водою, осенила крестом постелю, нашептала над изголовьем и с наговорами благотворными ступила правою ногою за порог спальни. Добрая старушка! для чего нет у тебя отговоров от любви-чародейки? Ты бы вылечила ими свою барышню от кручины, от горести, от истомы сердечной. Или зачем сердце твое утратило память юности? Ты бы провидела страсть милой Ольги, заглушила б ее еще в цвету – советами и рассеянием. Но ты сама раздувала пламень, сама напевала ей песни Романовы, хвалила его нрав и статью. Беда юноше, когда ветреная красавица только думает, что его любит; горе девушке, если она любит неложно! В шуме боевой, походной жизни, с чужеземными красавицами, забывает молодец прежнюю милую, но в тиши девичьего терема гнездятся томительные страсти, и любовь глубоко впивается в невинную душу. Ах, зачем, добрая няня, ты не ведаешь отговоров от любви-чародейки? Зачем старостью отуманились твои очи?

Но вот Ольга сбрасывает с себя жаркое одеяло и робкою белоснежною рукою осторожно отдергивает камчатные завесы[43] полога – прислушивается; дыхание замирает в груди, блеск лампы перед иконою обличает волненье беглянки. Трепеща, надевает она соболью шубку и, наконец, решается встать с постели; долго ищет ножкою по холодному полу туфель сафьянных, – каждый скрип половицы бросает ее в холод. Красавица отворила окно. Все было мертвенно, тихо в окрестности, и месяц плыл в зыбких осенних туманах. Изредка слышался крик перепелки в нивах соседних; изредка брэнчанье цепей на собаках, стерегущих немецкий гостинный двор, раздавалось по Михайловской улице. Нигде ни души. Нет условного знака, страшного и желанного вместе. Склонясь на руку, уныло смотрела Ольга на сверкающий вдали Волхов, и тоска по родине сдавила ее сердце. Прости, в последний раз, все, что семнадцать лет меня радовало! Простите, добрые, милые родители! Ольга залилась горячими слезами, и невольно упала на колена перед спасовым образом, и в теплой молитве излила свою душу. Страсти улеглись в ней постепенно, и постепенно ярче слышался голос раскаяния. «Где найдешь ты покой, дочь ослушная, без благословения родителей, тобою убитых? Проклятие отца отягощает над тобою; грызение совести и общее презрение будут преследовать тебя в жизни и заградят грешнице небо; ты истнешь слезами, иссохнешь в объятиях мужа. Чуждый песок засыплет глаза твои. Твое имя надолго будет укором!» Тронутая Ольга молилась с новым благоговением, и благодать низлетела в ее сердце светлую мыслью. «Нет! не огорчу, не обесславлю побегом родителей! – сказала она с благородною твердостью. – Роман ослеплен любовью, но он меня послушает, – я упрошу или оплачу любезного. Пусть буду несчастна, зато невинна!» Победа над собою пролила небесную отраду в утомленные чувства красавицы, и ангел сна осенил ее крылом своим.

Покойся, душа непорочная! Ты не одну еще ночь встретишь тоскою бессонницы, не одно изголовье смочишь слезами, которых не осушит ни солнце, как росу, ни поцелуй сострадательной матери, ни самое время, и долго тебе ронять их на ветер, долго ждать друга милого!

V

Под звездным небом терем мой,
И первый друг мне – мрак ночной,
И мой второй товарищ ратный —
Неумолимый нож булатный;
Товарищ третий – верный конь,
Со мною в воду и в огонь;
Мои гонцы неподкупные —
Летуны стрелы каленые. Старинная песня

Под мраком ночи невидимкой миновал Роман Софийские ворота Новгорода и на вороном коне поскакал по дороге Московской. Быстро, не озираясь, неся он, будто русалка гналась по пятам, будто хотел умчаться от изменнической стрелы. Пал холодный туман на поляны; тяжкая грусть налегла на сердце. Ветер взвевал кудри Романа; широкие полы опашня[44] трепетали на седле татарском, и кривая сабля гремела, ударяясь о стремя. Протяжный звон службы всеобщей раздался с седой колокольни монастыря Хутынского и пробудил Романа от забытья. Взглянув на узорчатые главы оного, блистающие во тьме крестами золотыми, он вспомнил, что, выезжая в дорогу, не осенил себя крестом, и торопливо осадил опененного коня, снял шапку и набожно прочел «Богородице дево, радуйся», и трижды склонялся к луке поклонами молитвенными.

«Мучительно оставить милую, – мыслил Роман, – когда брачный венец ожидал нас. Тяжко покинуть ее в жертву сомнений и незаслуженной тоски; но, видно, бог не хотел союза тайного, неблагословенного; да будет воля его святая!»

С думою на угрюмом челе пустился он далее. Совесть упрекает нас сильнее, когда решимость на худое дело напрасна, ибо досада неудачи ее подстрекает, – то же самое было с Романом.

Долго ехал молодец по дороге-разлучнице; кручина, как ястреб, рвала его сердце. Месяц светил сквозь радужную фату облаков, на пустую тропу и на сонные дубравы. Кругом не шелохнется листок, не встрепенется птичка; только звонкий отголосок вторит мерному топоту коня или хрустят порой гнилые мостницы под его ногами. Настала полночь, час привидений, но наваждение ада бессильно против невинности, ужасной ему, как песнь петуха, по преданию. Чего ж нам страшиться за нашего витязя, когда теплая вера ему покровом!

Частой рысью спускался Роман с крутого берега Вишеры на утлый мост, через нее брошенный; громкий свист пробудил его из глубокой задумчивости, другой свисток отозвался

в глуши леса. Конь вздрогнул и поднял голову, по телу всадника пробежал мороз. Узкий бревенчатый мост, опирающийся на шаткие козлы, лежал перед ним, сзади круть берега, кругом седой бор. Шатром перекачнувшиеся ели заслоняли месяц, поток невидимый журчал внизу между камешками. Рассуждать было бы напрасно; Роман выправил рукоять сабли и, озираясь, проехал до половины моста. Чуткий конь прят ушами, храпел, робко ступал, но все было тихо; Роман думал, что ему почудилось.

– Стой, или убую! – загремел неведомый голос, и пять удалцов, выскочив из-за обрушенных пней, из-под моста, заступили ему дорогу.

– Прочь, бездельники! – вскричал бесстрашный Роман, и дерзкий, схвативший под уздцы его лошадь, покотился от сабельного удара.

– Режьте его! – воскликнули разбойники, и кистени засвистали вокруг витязя. Бодро отмахивался он от наступающих; пробиться и ускакать была его единственная надежда; но бог судил иначе. Блестящий нож испугал бегуна Романова; он с маху рванулся вбок, скользнул и полетел с моста, и там, на дне ручья, всей тяжестью тела придавил разбитого, бесчувственного всадника...

Светало.

Вкруг умирающего огонька спали нераздетые разбойники; на их бранных медью поясах сверкали длинные ножи. Самострелы, колчаны, кистени висели кругом на ветвях; три коня под седлами ели пшено вместе с Романовым. У переметных сум, полных добычею, дремал сторожевой, с свистком в руке; атаман, с завязанною головою, лежал на волчьей коже и читал какую-то грамоту; вот какое зрелище представилось изумленному Роману, когда он опамятовался.

«Где я?» – спрашивал он у самого себя. Как давно забытый, зловещий сон, мелькало в его памяти прошлое. Он смутно припоминал об условленном побеге, о вече, о любви, принесенной в жертву отечеству, о вине пути своего; наконец со страхом схватился за грудь... На ней уже не было хранительной сумки, ни данных ему наказов, ни золота, ему вверенного. Обморок снова охватил чувства Романа, испуганного сею важною потерей.

Атаман разбирал по складам письмо, сорванное с Романовой груди, и гласно повторял каждую речь. Послушаем, что в нем написано.

«Наказ тысяцкого и посадников новгородских боярскому сыну Роману Ясенскому! Добрые люди знают тебя за твою правду; мы уверены в твоей верности; мы поручаем тебе дело тайное. Правда, ты молод, но ум не ждет бороды, и нам не старого, а бывалого надо. Внимай: великий князь грозит на нас войною. Не боимся ее, но не хотим лить крови христианской, если можно того избежать; к этому один путь – золото. Бояре московские, сдружась теперь с баскаками[45], любят стольничать добром народа; собирают татарской рукою двойные подати, продают правду; обманывают князей и простолюдинов. Итак, спеши в Москву; никем не знаемый, ты можешь выдать себя за иногородца и тайком склонять на нашу сторону княжих сановников. Не жалей ни казны, ни красного слова; представь им несправедливость требований, неверность счастья в битве, силу Новагорода и упорство новгородцев, Корысть и нелюбовь бояр к трудностям похода будут стоять заодно с тобою. Князь молод, и, может, ими отговоренный, он отменит гнев на милость. Однако не полагайся на обеты, на ласки придворных, – с ними дружись, а за саблю держись. Замечай сам за всеми, поверяй все собою. Спи и гляди, и чтоб первая боевая труба слышна была на Ильмене, чтоб не пал на нас князь, будто снег на голову. Крепко держи наш совет на уме, тайною запечатлей осторожность исполнения, а в остальном указ своя голова. Когда приложишь сердце к делу правому, святая София тебе поможет и государь Великий Новгород тебя не забудет. С богом!»

Атаман, прочитав грамоту, заботливо бросился к лежащему без чувств Роману, кропил его студеной водою, лил вино в посиневшие губы, – все напрасно: смертный сои оковал члены юноши. Напоследок отозвалась жизнь в Романи, мгновенный румянец, как зарница, мелькнул на щеках его, он поднял отяжелевшие веки и удивился, увидя себя на коленях разбойника, между тем как другой его окуривал жженым опереньем стрелы.

– Здравствуй, земляк! – сказал радостно атаман, смягчая грубый свой голос.

Роман привстал, чтоб удостовериться, не сон ли это, и сомнительный взор его остановился на приветствующем, – и быстрая мысль сорвала вопрос с полуоткрытых уст.

– Понимаю! – возразил, усмехаясь, атаман. – Тебе чудно, что разбойник, которому вчера разразил ты буйную голову, теперь ухаживает за тобой, как за невестой; не дивись этому: гонец новгородский всегда будет у меня гостем почетным. Пусть ржавчина съест мою игольчатую саблю, если я ведал вчера, что ты новгородец! Но, говорят, от судьбы на коне не ускачешь, и я нехотя стал твоим грабителем. Ободришь, однако, добрый молодец! Ты не в худые руки попал: я не век был разбойником.

С сими словами он помог Роману встать, подвел его к огню, тер целительною мазью его ушибы и потчевал вином кипящим.

– Благодарю! – отвечал Роман. – Я еще не пью питья хмельного; оно для меня как яд.

– Ах, кому оно полезно! – сказал атаман, вздохнувши. – Многих бы грехов не лежало на моей совести, когда бы вино не мрачило разума. Буйные страсти от него кипели гневом, и невинная кровь лилась. Ты имеешь право, юноша, глядеть на меня с ужасом и презрением; но было время, в которое и моя душа светлела, как хрустальное небо, в которое мог бы я встретить твои взоры своими, не краснея. Меня сгубила роскошная, разгульная жизнь. Одиннадцать лет тому назад весь Людинский конец пировал и бражничал за моими столами, и прозвище хлебосола Беркута гремело на Волхове. Всего было разливное море, но с ним скоро утекло наследство отеческое. Я привык жить шумно, блистательно, весело; я не мог снести бедности и правдивых укоров; ложный стыд повлек меня с вольницею новгородскою на берега Волги, нечестным копьем добывать золота[46]. Умолчу о злодейском молодечестве моих товарищей, умолчу о пылающем Ярославле, о разграбленной Костроме, о залитом кровью Новгороде Нижнем. Русские губили русских, продавали их в неволю болгарам; добром одноземцев запружали Волгу и Каму. Небесный гнев постиг святотатцев: шайка наша встретила гибель у стен астраханских. Князь монголов, Сальчей[47], заманил ее к себе, упоил, усыпил, и неосторожные заплатили головами за коварное угощенье. Нас двое избегли побоища, и я с раскаянной совестью спешил на родину, где ждали меня новые беды. Война с Димитрием кончилась[48], но не устал в новгородцах дух раздора. Посадник Иосиф раздражил народ гордостью, и три Софийские конца вооружились против концов Торговых; грозили друг другу, разметали мост волховский, разграбили, срыли под корень дома бежавшего посадника и всех его сторонников. Я был жених его внучки, и буйная толпа, предводимая моим завистным соперником, сожгла мои хоромы, провозгласила меня изменником. Я бежал. Месть глубоко заронилась в оскорбленное сердце; как лютей зверь стерег я по дебрям и оврагам своего злодея, – и он пал от моего железа, но с ним схоронилось мое счастье. Его труп лежит непереступаемым порогом между людьми и мною. Ужасная клятва вяжет меня с этими преступниками, и с тех пор я напрасно хочу задушить совесть игом злодеяний великих, в крови и в вине утопить чувства человека. Мне всюду чудятся тени, и вопли, и запах тления. Солнце в день кроваво, и звезды в ночи как глаза мертвеца, и кажется, листья в лесу шепчут невнятные укоризны. Мутный сон не освежает очей моих, а палит их! О, как тяжки мучения душегубца, – он не может забыть ни бывшего, ни вечного будущего!

Роман прослезился, внимая раздирающему голосу преступника.

– Счастливец ты! – продолжал Беркут. – У тебя есть слезы на сострадание и печаль. Небо отказало злодеям и в этом.

Он закрыл лицо руками.

В безмолвной думе пролетел час рассвета.

Встало осеннее солнце из-за влажного цветистого леса.

Конь Романа кипел под седлом;

Беркут прощался с гостем.

– Вот твои письма, – говорил он, – и твое золото; оно невредимо. Спешу, куда зовет тебя долг гражданина, и знай, что и в самом разбойнике может таиться душа новгородская. Новгородцы лишили меня счастья в жизни и спасения в небе, но я люблю их, люблю свое отечество. Прощай, Роман, не поминай нас лихом!

Роман поблагодарил атамана и, чудясь виденному и слышанному, выехал заглохшею тропую из чащи в сопровождении одного из разбойников.

VI

Ты без союзников.

– Мой меч союзник мне

– И сограждан любовь к отеческой стране.[49] Озеров

Три дни ждали ответа послы княжие; в четвертый позвали их на Ярославль двор. Уже вече было создано: посадники, воеводы, тысяцкие окружали крыльцо. Бояре, люди житые, купцы и народ толпились за ними; все кипело, шумело и волновалось. Послы взошли на возвышение, поклонились на все четыре стороны, посадник Юрий дал знак, и жужжанье умолкло.

– Послы московские и литовские! по своей воле и старине мы совещались миром о предложениях государей ваших, и вот что присудило вече в ответ им.

Посадник разогнул и громко прочел грамоту:

– «Великому князю Василию Димитриевичу благословение от владыки, поклон от посадников, от огнищан, от старейших и меньших бояр, от людей торговых и ратных и всех граждан новгородских! Господин князь великий! у нас с тобою мир, с Витовтом мир и с немцами мир». Только! – примолвил Юрий, завертывая висящие печати в свиток и отдавая оный изумленному москвитянину.

– Князю Витовту тот же самый ответ от нашего государя, великого Новагорода. Литовец получил одинаковый свиток, и раздались рукоплескания. Ямонт обратился к народу.

– Новгородцы! – сказал он. – Именем и словом Витовтовым спрашиваю еще раз: хотите ль покоя или брани?

– Хотим дружбы со всеми соседями, – воскликнули тысячи голосов, – но, имея щиты для

друзей, есть у нас и мечи для недругов!

– Война, война! – воскликнул разъяренный литовец, удаляясь, – и гибель области Новгородской!

– Пусть Витовт творит что хочет; мы сделаем что должны! – говорили старейшины. Тогда посол московский начал слово к предстоящим:

– Новгородцы! Еще есть время одуматься; еще гром Василия не грянул над Новым-градом за строптивость, неправду и волжские разбои ваши. Как отец, он ждет раскаяния сынов заблудших; как государь, накажет ослушников. Выбирайте любое: или исполнение требований моего государя, или гнев его и месть Новгороду!

Упреки Путного раздражили народ; ропот раздался в нем, как вешние воды. Прежний посадник Богдан выступил тогда на крыльце и, горя негодованием, отвечал:

– Москвитянин! вспомни, что ты говоришь не слугам князя: Новгород еще не отчина Василия. Напоминать старое напрасно: презрение людей и мщение божеское наказали расхитителей поволжских и двинских. О разрыве с немцами ты слышал ответ веча, а что им сказано, то свято.

Князь твой целовал крест, чтоб держать нас по старине и по грамоте Ярославовой; для чего ж теперь изменяет слову, требуя несправедного?

– Обидные речи! – воскликнул Путный. – Вы сторицей за них заплатите. Волхов пересохнет от пламени пожара, и казнь Торжка повторится над Новым-городом!

– Мы докажем, что не забыли ее! – зашумели все. – Но у нас не найдется, как в Нижнем, другого предателя Румянца[50]. Мы станем за свою правду, за свою старину, – а кто против бога и Великого Новгорода!

Московский посол удалился при буйных кликах народа.

VII

Где вы, отважные толпы богатырей,

Вы, дикие сыны и брани и свободы?

Возникшие в снегах, среди ужасов природы,

Средь копий, среди мечей?[51] Батюшков

Между тем Роман ехал далее и далее. Скоро остались за ним Торжок и Тверь, еще опаленные недавними пожарами. Дороги пустели; редкие обозы тянулись по ним, и гордый новгородец кипел в душе негодованием, видя, как смиренно сворачивали они в сторону перед каждым татаринном, который, спесиво избочась, скакал на грабленном коне. Между полуразрушенными деревнями, разбросанными по два, по три двора, между заглохшими нивами возвышались невредимые монастыри и церкви; расчетливые моголы не смели касаться святынь, сего последнего убежища угнетенного ими народа, которому оставили они одно имущество – жизнь, одно оружие – терпенье, одну надежду – молитву. Развращение

нравов, эта ржавчина золота, не перешло еще от бояр к бедным; в дымных, покрытых соломой хижинах находил Роман гостеприимный ночлег, и радушное добро пожаловать встречало его у порога. Хозяева угощали проезжего чем бог послал и наутро провожали его как родного, от сердца желали ему доброго пути и счастья. «Для меня нет счастья! – думал грустный Роман. – Оно поманило мне надеждой, будто песнею райской птички, и скрылось, как блеск меча во тьме ночи».

На девятый день к вечеру показались башни Кремля, золототерхие церкви и многоглавые соборы московские; заревые тени играли на великанских стенах города; слитный шум оживлял картину, и отдаленный звон вселял какое-то благоговение! Радостна, прекрасна была погода, но Роман вспомнил о первом своем проезде через Москву белокаменную[52], когда он был так счастлив неопытностью, так удивлен, так занят каждою безделкой!.. А теперь, теперь!.. С тяжким вздохом проехал он сквозь ворота Тверские, и железная решетка за ним запала.

Роман в точности выполнил поручение веча. По долгу, но против сердца, казался веселым и приветливым, нашел друзей между сановниками двора, настроил многих своею мыслию, узнал мысли великого князя; они были нерадостны новгородцам. Юный Василий далеко превзошел отца своего в науке властвовать, хотя и не наследовал от героя Донского ни прямотушия, ни храбрости личной. Он не привык быть самострелом в руках вельмож: слушал их и делал по-своему. Разметная грамота[53] была отослана к новгородцам с объявлением войны; но Роман заранее предупредил купцов новгородских, в Москве бывших, и ни один из них не впал в руки грозного князя; товары их не были разграблены. Новгородцы радовались, Василий негодовал.

Прошла зима, и нет приказа от веча; Роман тщетно ждет, с ноющим сердцем, тайного гонца с родины.

Сон, единственный друг несчастных, веял над изголовьем Романа, измученного тоскою разлуки и неизвестностью будущего. Льстивые сновидения сближали его с милою; сладко билось сердце от поцелуя мечтательного...

Вдруг, сквозь сон, слышит он скрип двери, брэнчанье оружия, чувствует, кто-то схватил его руки; силится встать – его вяжут, клепят рот, обвертывают глаза, влекут, бросают в телегу и скачут; но куда? но зачем? Он приходит в себя уже в тесном, сыром подземелье. Гром запоров и звук цепей удостоверяют, что он в темнице. Тогда-то отчаяние врывается в чувства пленника, и силы души цепенеют. Все кончено. Роман узнан, позорная казнь ожидает его.

Унылый звон колоколов возвестил уже первую неделю великого поста, а позабытый Роман все еще глотал ядовитый воздух тюремный. Однажды вошел к нему боярин Евстафий Сыта, недавно бывший княжим наместником в Новгороде, и отступил от изумления.

– Тебя ли, Роман, вижу я? – воскликнул он. – Когда и как ты сюда попался?

Роман рассказал, что его схватили, как врага Москвы.

– Сожалею о твоей участи, – молвил Сыта, – но, посланный великим князем творить за него по тюрьмам милость и милостыню, я могу испросить тебе свободу перед его исповедью, – однако ж не иначе, как с условием остаться здесь навсегда. Послушай, Роман! Я знаю твои достоинства и знаю, как мало их ценят в Новгороде. Здесь не то; даю мое слово, что князь осыплет тебя дарами и почестями; сделаю больше: издавна любя тебя, отдаю за тебя свою дочь, которая хорошо знает Романа, которою не раз и Роман любовался. Я уверен, ты не отказываешь, – продолжал он, протягивая руку, – не правда ли, старый знакомец?

– Неправда! – отвечал Роман с хладнокровием. – Я не продам своей родины за все блага в мире, не хочу вести переговоров с врагами Новгорода, когда не в руках, а на руках моих

гремит железо! Если б я принял твое предложение, бывши на воле, то я стал бы изменником, но теперь сделался бы презрительным трусом! Нет, Евстафий, мне, видно, одна невеста – смерть, и одной милости прошу от князя: не морить, а уморить меня поскорее.

– Ты получишь ее, упрямая голова! – с гневом сказал Сыта, хлопнув дверью.

С гордою, утешительною мыслию – умереть за любовь и отечество, ждал Роман неминуемой смерти.

VIII

Как мне слушать пересудов всех людских!

Сердце любит, не спросясь людей чужих;

Сердце любит, не спросясь меня самой.[54] Мерзляков

Быстро текут слова повести; не скоро делается дело. Прошла зима, лето исчезло, как утренняя тень; наступили вновь зимние вьюги, а Романа нет как нет с Ольгою. Вешнее солнце растопило синий лед на Ильмене: уже резвые ласточки, рея по воздуху, целуют пролетом поверхность Волхова; все оживает, все радуется, – одной Ольге нет радости! И кому же светел день сквозь слезы? кому не долги короткие ночи, когда измеряют их кручиною? Увядает краса милой девушки, будто радуга без дождика, и бледность изменяет тоске сердечной. Напрасно отец дарит ее соболями якутскими, убирает в жемчужные кружева, в алмазные серьги и запястья; напрасно молодые подружки забавят Ольгу играми и песнями; она дичится игр юности, и петли ее терема ржавеют мало-помалу.

С утра до позднего вечера она любит сидеть под окном светлицы и ждать, кого не надеется увидеть, кого уста ее не смеют назвать. Часто гордость красавицы пробуждалась при мысли, что Роман уехал, не простясь с нею, не сказав и слова, куда, для чего. Часто ревность возмущала душу ее и придавала возможность призракам подозрительного воображения, но скоро любовь укрощала бурю. «Нет! он не может изменить, – говорила с собою невинная, – потому что я любила его нежно и нераздельно. Кто не верит чистой любви, тот недостойн взаимности. Если б можно было скинуться птичкою, с каким бы нетерпением полетела я по свету искать милого – когда он жив, наглядеться на него; когда ж убит, умереть на его могиле».

Горько плакала тогда Ольга, склоняясь на грудь доброй матери, и редко, ей в угоду, мелькала улыбка на лице задумчивой, как блудящий огонек над кладбищем.

– Ольга! полно горевать, полно упрямитесь! – не раз говорил ей Симеон.

– Слезами не наполнить моря; живым безрассудно мертвить себя для умерших; твой Роман пропал без вести навеки. Забываю все прошлое, но исполни теперь мою волю, порадууй отца на старости, ступай замуж, дитя милое, чтобы не угасла поминная свеча по мне без родном! Выбирай... женихов именитых много!.. – И Симеон нежно целовал дочь свою, и рыдания Ольги были обычным ему ответом. Растроган и раздосадован, выходил Симеон из девичьего терема.

«Это пройдет!» – думал он и обманывался, как прежде.

Наконец созрела гроза на Новгород; Андрей Албердов, воевода Василия, ворвался в Двинские области[55], принудил жителей задаться за великого князя и осадного воеводу края, новгородского боярина Иоанна с братьями, сделал изменниками отчизне. Послышав о том, новгородцы сзвонили вече.

– Князь идет на нас; что делать? – спросили сановники.

– Предложить мир и готовиться к битве! – воскликнули все единогласно.

– Посадник Богдан был отправлен в Москву и воротился без успеха; Василий принял их, но не хотел слушать.

– Да будет! – сказали тогда оскорбленные новгородцы. – На начинающего бог!

Обнялись как братья и под благословением епископа поклялись пасть до одного. Кликнули клич: люди житые[56] поскакали во все пятины[57], вооружать, собирать, одушевлять ратников, исполчить старого и малого. Симеон вызвался поднять всю пятину Деревскую, как самую опасную по соседству с землями московскими.

В кольчатых латах зашел он проститься к жене и дочери.

– Прощай, Ольга! – сказал Воеслав решительно. – Я еду на службу Новгорода; чему быть, того не миновать, но если бог судит воротиться, мы отпируем твою свадьбу с Михаилом Болотом; он добрый слуга вечу, молод, пригож и богат, очень богат! – примолвил Симеон, глядя в сторону, как будто боясь встретиться со взором дочери. – Понравился мне – и тебе полюбится. Готовься!

Отчаяние помрачило взор Ольги; она не видела, как священник окропил отца ее святой водою, как в безмолвии все сели, встали и прощались по обряду проводов русских; не чувствовала, как Симеон прижал ее к своей груди, благословил и уехал. Бедная девушка! какая участь ждет тебя?

IX

Крепка тюрьма, но кто ей рад. Русская пословица

– Приветствую тебя, первый гость обновленной природы, милый певец, жаворонок! Как весело въесться ты над проталиной, как радостно звенит твоя песня в поднебесье! Странник воздушный, ты не ведаешь, как грустно невольнику глядеть на вольную птичку, как мучительно за стеной тюрьмы видеть весну и жизнь и каждый миг ожидать смерти. Слтай, жаворонок, на мою родину святую и принеси оттоль весточку о милой Ольге: любит ли она Романа по-прежнему, помнит ли друга, у которого и перед смертью одна мысль об ней и об родине!

Так жаловался Роман на судьбу свою, завидя сквозь решетку окна жаворонка.

Спустилась ночь, и кто-то стукнул в косяк отдушины.

– Спишь или нет, товарищ? – шепотом спросили Романа.

Роман отозвался, и на вопрос: «кто там?» отвечали:

– В этот раз добрые люди.

– Зачем?

– Спасти тебя от плахи.

– А эта цепь, эта решетка?

– Распадутся, как соль, от нашей разрыв-травы.

И в то же мгновение, обернув кушаками железные полосы, чтобы они не гремели, принялись распиливать их. Через полчаса Роман был уже вне темницы. Два удальца разбили его рогатки[58]; по веревке перелезли они чрез монастырскую стену, – на коней, и вот уже Москва далеко осталась за беглецами. Роман не знал, какому чуду приписать свое избавление, а его проводники скакали вперед, не говоря ни слова.

Наконец они своротили с большой дороги в лес дремучий и поехали тише. Через полчаса свисток раздался и откликнулся, и Беркут с тремя наездниками выехал к ним навстречу; загадка Романова разгадалась.

– Здравствуй, земляк! – сказал атаман. – Я рад, что удалось сослужить тебе службу, и вот каким образом: мои невидимки почуяли наживу в монастыре, куда забросил тебя Василий. Чтобы не попасть в западню, надо было ощупать все закоулки, и в одном погребе вместо бочонка с золотом нашли они тебя, невзначай, да кстати; говорю кстати, потому что через три дни (это узнал я от болтливого приворотника) твою голову расклевали бы птицы, как вишню. Медлить было некогда, и ты видишь, каково успели мои молодцы, из которых каждый стоит самой высокой виселицы. Теперь, Роман, ты волен, как рыбка; куда ж едем? Отдохнуть ли в Новгород или биться к Орлецу?[59]

– Туда, где мечи и враги! – воскликнул пылкий юноша. Они поворотили к области Двинской.

Оставя в стороне Дмитров, Бежецкий, Краснохолмский, избегая встреч с московскими кормовщиками и отсталыми[60], они без всякого приключения пробрались околицею за три часа езды до Орлеца, который с самой христовской заутрени был в руках изменников-двинян, предводимых княжим наместником Федором Ростовским. Там заметили они в стороне огонек. Двадцать всадников отдыхали на поляне; к копьям привязаны были кони; одни поили их из шишаков[61], другие лежали вокруг огня, смеялись и пили. Все доказывало непривычку сих новобранцев к военному делу: никто не думал о страже; кольчуги развешаны были как будто сушиться, луки распущены и сабли сброшены в одно место; сам десятник вооружен был одним только огромным ключом, который висел у него на латном поясе. Роман долго не мог понять, что за остроконечная надета на нем шапка, и с трудом разглядел, что он вместо тяжелого шлема надвинул на уши бобровый колчан свой. Связанный человек лежал невдалеке. Роман слез с коня, прокрался тихонько и подслушивал их разговоры. Пленный обратил речь к десятнику:

– Скажи мне, добрый человек, куда вы меня везете? Десятник, который по праву старшинства, казалось, не упустил случая поздороваться с круговою чаркою, оборотился к нему, зевнул вслух и замолчал.

– Неужто вы, москвичи, только умеете такать? – продолжал пленник.

– Когда бы и вы, упрямые новгородцы, держали свои языки на привязи, ты, старый затейник, спокойно бы сидел дома и против воли не плясал бы по канату до Москвы.

– Что же там со мной сделают?

– Что сделают? Отправят на покой! – сказал десятник, улыбаясь и начертив пальцами букву

П на воздухе.

– Беркут! – сказал Роман атаману, – спасем новгородца! Нет нужды, что их двадцать человек, а нас семеро: у страха глаза велики. Впрочем, как хочешь, я и один решаюсь на все.

Вместо ответа Беркут поднял топор и с криком: «Сюда, товарищи!» обок Романа налетел грозой на оплошных москвитян. Через мгновение уже не было ни одного противника: самые храбрейшие разбежались, другие остались на месте от ран, от страха или хмелю. Распустив коней, переломав и побросав в огонь их оружие, Роман развязал плененного и узнал в нем – Симеона.

– Добрый, великодушный юноша! – говорил Воеслав своему избавителю, с чувством сжимая его руку, – я не стою тебя! Но пусть Ольга помирит нас и заплатит долг отцовский. Теперь время дорого: посадник Тимофей и брат Юрий собираются ударить на приступ, а между нами и Орлецом еще двадцать верст и только остаток ночи; поспешим!

Роман, с радости о битве и невесте, перецеловал всех разбойников, едва не уморил коня своего скачкою и утешал бедное животное рассказами, что он станет драться за Новгород, как будет счастлив с Ольгою.

На рассвете полки новгородские облегли ров города, остановились на перелет стрелы, и посадник в последний раз послал сказать осажденным, чтобы они сдались честью, или он возьмет город копьем.

– У этого копья еще не выросло ратовье[62]! – отвечали с насмешкою москвитяне. – Впрочем, милости просим: мы готовы мечом охристоваться с дорогими гостями.

– Вперед! – воскликнули воеводы, и ливнем прыснули стрелы.

Новгородцы лезли и падали в тинистый ров, зажигали деревянные стены, вонзали в них тяжкие стрикусы[63]

– Други! – сказал Беркут разбойникам, – мы долго жили чужбиной без чести – погибнем теперь за свою родину со славою. Туда!

Он указал, на московское знамя, веющее на крепости новгородской, и ринулся по лестнице на стену, ударом топора разнес древко знамени и, поражен стрелой, мертвый опрокинулся с ним в ров. Сеча была ужасна; русские поражали и отражали русских; победа колебалась, как вдруг в дыму и в огне, будто ангел-разрушитель, явился Роман на гребне бойницы и скликал дружину свою, но подгоревшая твердыня рухнула, и витязь исчез в ее обломках...

Затихла битва. Труба новгородская прозвучала на отступление, но осажденные уже не имели сил на новый отпор, и крепость сдалась победителю.

Х

Отворяйся, божий храм!

Вы летите к небесам,

Верные обеты!

Собирайтесь, стар и млад,

Сдвинув звонки чаши, в лад

Пойте «Многи леты»![64] Жуковский

В Новгороде носились печальные слухи: говорили о какой-то несчастной битве, о гибели первейших воинов, о приближении войска княжего. Народ толпился по площадям; все спрашивали, многие сомневались, никто не знал истины.

В один из сих вечеров, волнуемая страхом, Ольга молилась за спасение отца от опасностей и невольно включала в молитву свою имя любезного. Вот слышит она бег коней по Михайловской улице; топот ближе и ближе, пронеслись мимо сада, ворота заскрипели, и два всадника въехали на двор, слезли с коней и, к удивлению Ольги, привязали их к почетному кольцу.[65]

– Это батюшка, батюшка!

Весь дом поднялся на ноги; огни забежали по сеням, и Ольга бросилась в объятия отеческие.

– Тише, тише! – говорил Симеон ласково. – Ты задушишь меня своими поцелуями – не худо бы побережь для твоего жениха!

Это приветствие как громом поразило Ольгу.

– Милый батюшка, – говорила она, рыдая, – не делай дочь свою несчастною, избавь от постылого замужества, я в святом монастыре окончу дни свои и, может быть, умолю бога, что прогневила родителя.

– Полно, полно, Ольга, что за черные мысли? К чему такое притворство? Я бьюсь об заклад, что не пройдет и получаса – и ты будешь кружиться и петь, словно ласточка.

– Нет, никогда, ни за что!

– Эй, дочь, не ручайся за свое сердце, – да вот, кстати, и жених; он поможет развеселить несговорчивую!

Ольга вскрикнула и закрыла лицо руками, увидя входящего юношу; но скоро любопытство преодолело: сквозь пальцы, украдкой взглянула она на приезжего.

Перед нею стоял Роман Ясенский.

– Обнимитесь, дети! – сказал Симеон, сложив руки их. – Благословляю вас на брак, живите мирно и счастливо и твердите своим детям, что бог, рано или поздно, награждает бескорыстную любовь!

Долго еще проповедовал Симеон, но влюбленные не слыхали ни слова, и долго б длился поцелуй свидания, когда бы отец не прервал их восторга и своего нравоучения.

Весь город праздновал на свадьбе Романовой, с тем большим весельем, что победы доставили новгородцам выгодный мир с Василием, на всей их воле и старине. Ольга с гордостью шла под венцом подле Романа, и взор ее, брошенный на подруг, говорил: «Оп мой!» «Как мила невеста!» – шептали мужчины. «Какая прелестная чета!» – твердили все.

Молодые жили благополучно. Симеон, часто любясь на их согласие, за шахматной доскою проигрывал брату копей и слонов, и добрый Юрий говаривал: «брат и друг! не прав ли я в выборе?» – и Симеон, с слезами умиления на глазах, отвечал: «так, я был виноват!»

Примечания

1

«Разговоры о древностях Новагорода»... и «Опыт о древностях русских» – «Исторические разговоры о древностях Великого Новгорода» Е. Болховитинова (1808) и «Опыт повествования о древностях русских» Г. П. Успенского (2-е изд.. 1818).

2

Эпиграф взят из стихотворения В. А. Жуковского «Алина и Альсим» (1814).

3

Так назывались на Руси турниры. См. 5-й том «Ист. гос. госс.» Карамзина, примеч. 251. (Примеч, автора.)

4

...косячатое окошко... (косячатое, косячатое, косящето) – окно с косяками.

5

...сотник конца Славенского. – Сотник (истор.) – командир небольшого войскового подразделения, сотни. Население в Новгороде делилось на сотни, на «концы», то есть районы, а жители «концов» назывались кончане.

6

Брак сопровождался был в старину множеством обрядов: перед выездом в церковь жених и невеста ступали на ковер, под венцом стояли на соболе, по приезде в дом жениха невесте

расплетали косу, которой уже не могла она показывать. Во время пира подруги молодой пели приличные песни. При входе в спальню новобрачных осыпали хмелем и деньгами, чтоб они жили весело и богато. Постель стлалась на тридцати девяти снопах разного жита, и один из дружек, с саблею в руке, должен был разъезжать всю ночь кругом брачной клетки или сенника. (Примеч. автора.)

7

Твердислав был посадником новгородским в 1219 году. О его великодушии смотри «Ист. гос. Росс.» Карамзина, том 3, стр. 172. (Примеч. автора.)

8

...потомок самого Вадима... – Вадим – полупоупендарный вождь новгородцев, упоминаемый в Никоновской летописи; выступил против власти князя Рюрика. В глазах декабристов был символом героической борьбы против тирании.

9

Мальвазия – сорт греческого виноградного вина.

10

Эпиграф взят из поэмы А. С. Пушкина «Кавказский пленник» (1822).

11

Семик – в Древней Руси – народный праздник поклонения душам умерших.

12

...кушак шамаханский... (шамахинский) – по названию гор. Шемаха в Северном Азербайджане, население которого занималось, в частности, производством шелка и различных тканей.

13

Тамерлан, или Тимур, с московского пути обратился на юг России, как пишут современники, в самый тот день (26 авг. 1395 года), когда москвитяне встретили сию чудотворную икону, нарочно из Владимира привезенную, «Ист. гос. Росс», том 5. (Примеч. автора.)

14

Багряница – торжественная одежда, плащ из дорогой ткани багряного цвета (в древности – одежда царей как знак верховной власти).

15

Рюэнь – сентябрь, (Примеч. автора.)

16

бежим к доброму князю Владимиру... – вероятно, в Киев, к Владимиру Святославичу, князю Смоленскому (конец XIV – начало XV в.).

17

Эпиграф взят из драматической поэмы И. И. Дмитриева «Ермак» (1803—1805).

18

...читают договорную мирную грамоту с рижанами и Готским берегом... – Речь идет о торговых соглашениях Новгорода с рижскими купцами, членами Ганзейского союза, а также о заключенном в 1395 г. новгородскими боярами союзе с ливонскими феодалами.

19

Изяслав – князь (1024—1078), старший сын Ярослава Мудрого (978 – 1054), великого князя Киевского.

20

Липец – липовый медовый напиток.

21

Алдерман (ольдермен, англ.) – член городской администрации в Англии.

22

...запел о любви дочери Ярославовой Елисаветы к смелому Гаральду... – Гаральд Строгий (1015—1066) – норвежский король (1046—1066 гг.), был женат на дочери Ярослава Мудрого – Елизавете. Подвиги Гаральда воспеты в скандинавской поэзии.

23

Бирюч (бирич) – в допетровской Руси – вестник, глашатай.

24

...бегун фряжский... – быстрая на ходу лошадь иностранной (заморской) породы.

25

Военно-торговое общество братьев шварценгейптеров, существовавшее в Ревеле и Риге, в гербе своем имело голову с Маврикия, который был мавр по роду и воин по званию, (Примеч. автора.)

26

Пятигорцы – род легкой кавалерии на образец венгерских пятигорцев. См. Opis starozytny Polski przez T. Swieckiego. (Примеч. автора.)

27

Прильбица – шлем, а иногда наличник (visiere). (Примеч. автора.)

28

Корольковые кисточки – пучок из корольков (петушиных или куриных перьев), служащий для украшения лошади.

29

Лядунка (ладунка) с снарядом... – у артиллеристов – металлическая сумка для патронов.

30

Самопалы – пищали или ружья. Витовт употреблял огнестрельное оружие при осаде Витебска в 1395 году. У нас вошло оно в употребление немного позже. (Примеч. автора.)

31

...строятся стороны... – Новгород делился пополам рекой Волхов на левую сторону – Софийскую, с центром в Детинце (Кремль), и правую – Торговую, где находилось Ярославово дворище и собиралось вече. Многие столетия обе стороны враждовали между собой.

32

Василий I Дмитриевич (1371—1425) – великий князь Московский (с 1389 г.). Борясь против Орды, еще сильной, несмотря на поражение на Куликовом поле, он вынужден был заключить союз (1392 г.) с литовским князем Витовтом Витаутасом (1350—1430), который был скреплен браком Василия I с дочерью Витовта Софьей.

33

...жду покорности новгородской митрополиту Москвы... – то есть подчинения Новгорода суду Московского митрополита, чему Новгород сопротивлялся. Вскоре Москва потребовала от Новгорода подчинения и в вопросах внешней политики, особенно после похода Московского князя 1396 г.

34

Здесь Витовт говорит о Василии Иоанновиче, князе Смоленском (который, видя свое владение изменою захваченное, Смоленск сожженный и разграбленный, бежал от братоубийцы Витовта в Новгород), и Литовском князе Патрикии, сыне Нариманта, которому новгородцы дали в управление цриневские области. (Примеч. автора.)

35

Действительный посадник назывался степенным, прежние посадники – старшими. Каждый конец, или часть города, имел своего старосту, делился на военные и торговые сотни. Первейшие местичи, или граждане, назывались огнищанами и житыми людьми. В боярское достоинство, равно как во все должности, избирал народ миром, то есть обществом; но оно не было наследственным. Простой, или черный, народ пользовался одинакими правами с прочими сословиями. Купцы, или гости, имели свою особую расправу – в думе, (Примеч. автора.)

36

Запольские – загородные. (Примеч. автора.)

37

Скиригайло – Свидригайло (Швитригайла; 1354—1396) – младший брат польского короля Ягайла Ольгердовича, великий литовский князь с 1388 г.

В 1392 г. вынужден был уступить власть Витовту, ставшему великим князем Литвы.

38

Наримант – один из сыновей литовского князя Ольгерда Альгирдаса (1341—1377); был повешен Витовтом на дереве и, повешенный, расстрелян.

39

Витовт... хвалится... – Витовт, великий князь Литвы, препятствовал объединительной политике московских князей: разорял Смоленск, Рязань, Тверь, трижды вторгался в пределы Московского княжества (1406—1408 гг.), хотел захватить и Новгород.

40

...отразили предки булат Андрея Боголюбского? – Имеется в виду битва новгородцев (1170 г.) с владимиристо-суздальским князем Андреем Боголюбским (ок. 1111—1174 гг.), сыном Юрия Долгорукого.

41

Первая торговая и смертная казнь была при Димитрии Донском. Василий усугубил ее. Пленных граждан Торжка, числом семьдесят человек, терзали на площади московской. «Они исходи-дили кровию в муках; им медленно отсекали руки и ноги и твердили, что так гибнут враги государя московского». «Ист, гос. Росс.» Карамзина, том 5, стр. 135. (Примеч. автора.)

42

Феревь (ферязь) – старинная русская одежда.

43

Камчатные завесы – от слова «камка» – шелковая цветная ткань с узорами.

Здесь – узорчатые занавеси,

44

Опашень (истор.) – летняя одежда – долгополый кафтан с короткими широкими рукавами.

45

Баскаки – на Руси при татарском иге представители ханской власти и сборщики податей.

46

Это было в 1385 году. Привыкнув грабить области рыцарей меча, новгородская вольница отправлялась в ладьях (ушкуях) по рекам и грабила чужих и своих. (Примеч. автора.)

47

Сальчей – князь монголов, захватил шайку новгородских разбойников и продал их тюркским болгарам, жившим на Волге.

48

Война с Димитрием... – Имеется в виду война Дмитрия Донского против Новгорода (1386 г.).

49

Эпиграф взят из трагедии В. А. Озерова «Дмитрий Донской» (1807).

50

Румянец, вельможа Борисов, присоветовал ему впустить Василия в Нижний и предал своего прежнего князя в руки сего последнего. (Примеч. автора.)

51

Эпиграф взят из элегии К. Н. Батюшкова «На развалинах замка в Швеции» (1814).

52

...через Москву белокаменную... – Явный анахронизм у А. Бестужева: время действия его повести относится к 1396—1398 гг., а «белокаменной» Москву стали называть после того, как при царе Федоре Иоанновиче в 1586 г. были поставлены белокаменные стены по нынешнему малому Садовому кольцу (стены Китай-города воздвигнуты в 1534 г.).

53

Размётная грамота – то есть грамота с объявлением о разрыве отношений.

54

Эпиграф взят из песни А. Ф. Мерзлякова «Я не думала ни о чем в свете тужить...», входящей в цикл песен, написанных в 1803—1810 гг.

55

...ворвался в Двинские области... – В 1397 г. великий князь Василий Дмитриевич послал войска в Двинскую землю, требуя признания его власти. Северная новгородская колония отделилась от Новгорода и признала власть великого князя.

56

...люди житые... – то есть хозяева, земледельцы.

57

Пятины – пять административных волостей, на которые делились земли Великого Новгорода в XII—XV вв.: Водская (около Ладого), Обонежская (до Белого моря), Бежецкая (до р. Меты), Деревская (до р. Ловати), Шелонская (от р. Ловати до р. Луги), была и собственно Новгородская волость.

58

...разбили его рогатки... – В Древней Руси узникам надевали на шею железные (или деревянные) ошейники.

59

Орлец – новгородская крепость в нижнем течении Северной Двины.

Двинскими боярами она была сдана московским войскам. В 1398 г. была разорена новгородцами.

60

...с московскими кормовщиками и отсталыми... – Кормовщик – старший в артели, заведовал питанием людей.

61

Шишак – металлический шлем с острием (шишом).

62

Ратовье (ратовигце) – древко копья.

63

Стрикусы, пороки – стенобитные орудия, род

64

Эпиграф взят из баллады В. А. Жуковского «Светлана» (1812).

Замок Венден. (Отрывок из дневника гвардейского офицера), Впервые – в «Библиотеке для чтения, составленной из повестей, анекдотов и других произведений изящной словесности», 1823 год, кн. IX, за подписью: Александр Бестужев. Первая повесть из ливонского цикла.

65

На двор именитого человека мог въезжать только ему равный или высший, если верить песням. В коновязном столбе бывали всегда три кольца: одно железное, другое серебряное, третье золотое. (Примеч. автора.)